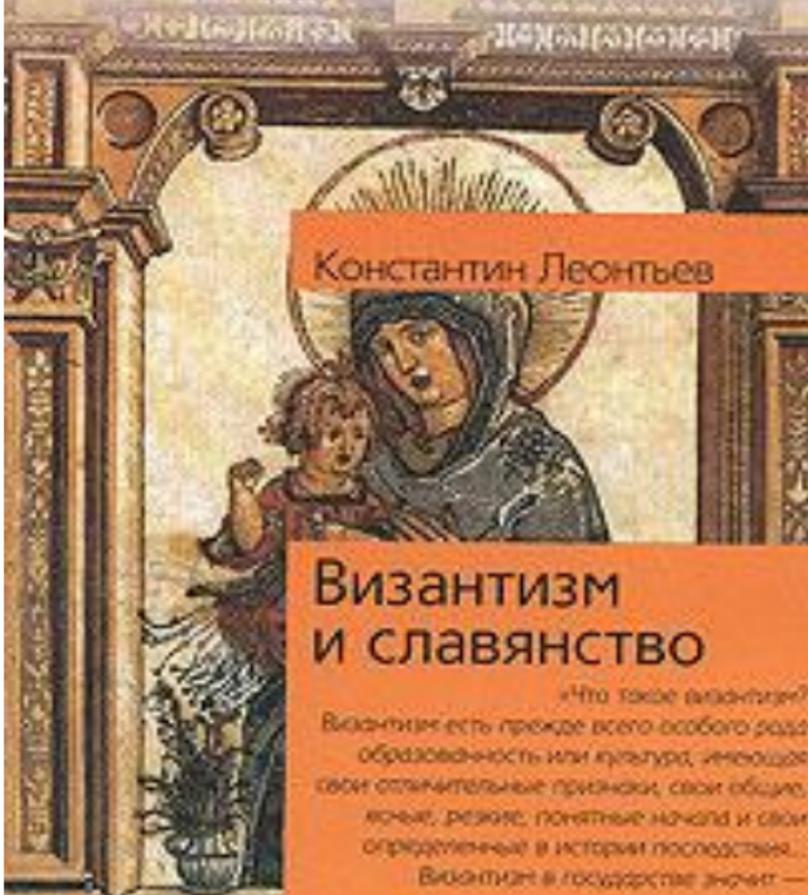


# КОНСТАНТИН ЛЕОНТЬЕВ



Константин Леонтьев

## Византизм и славянство

«Что такое византизм?»  
Византизм есть прежде всего особое лицо  
образованности или культуры, имеющее  
свои отличительные признаки, свои общео-  
бщные, резкие, понятные начала и свои  
определенные в истории последствия...

Византизм в государстве значит —  
самодержавие.

В религии он значит христианство  
с определенными чертами, отличающими  
его от западных церквей...

«Что такое славян?»

Ответа нет!.. Славян, какой  
во всецелости своей, есть еще  
офенис, западан.

Константин Леонтьев. Византизм и славянство // АСТ, АСТ Москва,  
Хранитель, Москва, 2007  
ISBN: 5-17-040449-2, 5-9713-4001-8, 5-9762-1600-5  
FB2: Denis, 2009-01-23, version 2  
UUID: 68131788-3a19-102c-b1cf-18f68bd48621  
PDF: fb2pdf-j.20180924, 29.02.2024

Константин Николаевич Леонтьев

## Как надо понимать сближение с народом?

Константин Николаевич Леонтьев начинал как писатель, публицист и литературный критик, однако наибольшую известность получил как самый яркий представитель позднеславянофильской философской школы – и оставивший после себя наследие, которое и сейчас представляет ценность как одна и интереснейших страниц «традиционно русской» консервативной философии.

# Содержание

#1 .....	0005
Примечание 1885 года .....	0038

**Константин Леонтьев**  
**Как надо понимать**  
**сближение с народом?**

У нас давно уже говорят о «сближении» или даже о «слиянии» с народом. Говорят об этом не только агитаторы, неудачно пытавшиеся «ходить» в этот народ; не только умеренные либералы, желающие посредством училищ, земской деятельности и т. п., мало-помалу переделать русского простолюдина в нечто им самим подобное (то есть национально-безличное и бесцветное); о подобном «сближении» говорят, хотя и несколько по-своему, даже и люди охранительного, или, скажу сильнее, слегка реакционного, взгляда (я говорю *слегка*, ибо сильно реакционного взгляда людей у нас очень мало и они до сих пор еще не влиятельны).

Но как понимают эти умеренные охранители подобное «сближение» – вот в чем вопрос?

По нашему мнению, нужно не столько *слияние интересов*, сколько *сходство идей*. Не нам надо учить народ, а самим у него учиться. Мы *современные* европейцы, а народ наш не европеец; скорее его можно назвать византийцем, хотя и не совсем, вот чем он лучше и выше нас. Для нас вопрос решается так: *если*

культурная солидарность наша с Западом неотвратима и неисцелима, то национальное дело наше раз навсегда проиграно. Чтобы объяснить без обычных в литературе нашей ужимок, как мы понимаем эти ужасные слова (которые произнести даже и наедине с самим собою страшно), мы должны сказать вот что: правы ли мы или нет – это другой вопрос; но мы думаем, что все государства Западной Европы должны в не слишком продолжительном времени *отречься* решительнее прежнего *от всего того, что составляло национальные основы их государственного быта, и принять форму республик*. Сольются ли они постепенно все в один атеистический союз, или сгруппируются сперва только *по племенам*, или, наконец, эти *бесцерковные республики* останутся приблизительно в пределах тех государств, из которых они выродятся и будут жить бок о бок, подобно республикам Средней и Южной Америки, не сливаясь *государственно*, но ничем почти *культурно* и не разнясь друг от друга, – все это вопрос второстепенных оттенков, для нас, славян, не слишком существенных; ибо во всех этих случаях

республиканский Запад будет еще враждебнее Русской Империи и союзу восточно-православных народов, чем была Европа монархическая. Подобно Соединенным Штатам Северной Америки, не пожелавшим выносить в Мексике соседства сильной империи, республики европейского Запада будут тяготиться формой нашего правления, прилагать все старания, чтобы изменить ее у нас, даже и посредством насилия. Подробнее здесь об этом я распространяться не буду. Мне кажется, это и так ясно.

Я не намерен также на этот раз «предсказывать», каков должен стать основной *экономический строй* этих европейских республик: «мещанский», т. е. либеральный, подобно строю нынешней Франции, или *принудительно-социалистический*... Хотя эта сторона вопроса для славян и России несравненно существеннее и важнее, но именно вследствие этой первостепенной важности дела о нем нельзя говорить слегка в статье, имеющей другую, специальную цель. На этот раз я позволю себе только мимоходом заметить еще вот что: во всех государствах и у всех наций

нашего времени все однородные охранительные силы находятся в постоянной между собою борьбе; государство воюет с государством; религия с ожесточением борется против другой религии; представители одной аристократии противятся остаткам другой знати или последним могикианам другого дворянства; даже либеральная или полулиберальная буржуазия – и та, под знаменем национал-либерализма, выступает охотно и нередко на бой, даже и кровавый, против буржуазии соседней, ведомой под точно таким же государственно-племенным штемпелем, и т. д. В эти минуты буржуазия даже и от ежедневно попираемой ею религии вовсе не прочь!

Все охранительные силы Европы, говоря, находятся теперь в постоянной и непримиримой борьбе между собою, и объединить их еще раз так, как объединились они в первой половине XIX века для борьбы против Франции и против напора ее демократических насилий, оказывается невозможным во второй половине истекающего века. *Согласны везде между собой только одни анархисты, комму-*

*нисты и те, которые им потворствуют.* Они согласны, и число их ежегодно и повсеместно растет; они убежденнее, тверже, решительнее людей всех других партий и учений. Идеал их прост и ясен. *Разрушить все прежнее, расторгнуть все преграды; сначала анархия, организация – позднее; она придет сама собою.* Это последовательно и даже сравнительно легко; ибо создание нового и даже охранительная поддержка раз созданного гораздо труднее разрушения.

Вот состояние дел во всей Европе, вот *общее течение* исторического потока... Я думаю, никто этого отрицать не может?

Ввиду всего подобного, мне кажется, что для нас весь *роковой вопрос* должен состоять в том: сумеет ли славянское племя вовремя оградить себя от напора, не скажем – социалистических (ибо *социализм*, понятый только с *экономической* стороны, может принять и *охранительный характер*), а скажем – просто *разрушительных* волн и обойти это течение по своему собственному руслу?.. Или оно осуждено историей и темпераментом своим на вечное умственное рабство и должно то-

же, хотя и несколько позднее других, отдать на заклятие все лучшие исторические начала свои? Мы думаем, что нет мыслящего человека в России, который бы позволил себе *еще теперь*, даже в уме своем и с глазу на глаз с своею совестью, *произнести решительный ответ!* При взгляде на иные стороны нашей русской жизни кажется более вероятным последний, ужасный исход; при воспоминании о других оживляются надежды. Нельзя, разумеется, не отчаиваться в будущности славянства, когда слышишь, например, что множество русских людей ожидают спасения России от «дальнейших либеральных реформ» или, скажем яснее, – от демократической *конституции*. Нельзя не ужаснуться за наше будущее, когда с изумлением начинаешь понимать, что соотечественники наши хотят лечить нас от крайнего европейского радикализма тем же самым радикализмом, только постепенным и умеренным. Или еще когда встречаешь иного рода заблуждение, уже не в либеральном, а в консервативном лагере. Есть у нас, например, консерваторы, которых мнения и наклонности мы чрезвычайно ува-

жаем; но не можем не указать на то, что и они часто не в силах перенестись на ту настоящую точку зрения, которая одна может открыть нам глаза на наши ошибки и несчастья. Есть консерваторы, которые желают все того же *сближения* с народом. Они сокрушаются о том, что русский народ русскую «интеллигенцию» *не любит*. Это *не государственная, не объективная* мысль; это чисто личное порождение невольного какого-то страха или оскорбленное чувство доброго и честного человека, считающего себя перед «народом» ни в чем не повинным.

С точки зрения *государственной* надо, напротив того, *радоваться*, что народ «интеллигенцию» *нашего времени* не очень любит, что она ему *не нравится*. Пускай в среде этой «интеллигенции» есть прекрасные и гуманные люди, пусть мы сами принадлежим к ней, все-таки надо *радоваться*, что эта «интеллигенция» так непопулярна, несмотря на всю теперешнюю гуманность свою.

Радоваться надо этому потому, что идеи и политические вкусы, господствующие в интеллигенции, – *все заимствованные*, а у наро-

да идеи и вкусы все *свои*; сближаясь с народом, мы только вредим ему; вредим не в том каком-нибудь грубом смысле, что мы его обманываем или грабим или можем отстранить его от каких-нибудь вещественных благ, а в том *более важном смысле*, что мы почти нечаянно учим его *европейству* и не можем не учить, потому что сами до сих пор выдумать ничего не были в силах и в деле творчества национального стоим гораздо ниже азиатских народов: индусов, китайцев, мусульман, у которых все почти *свое*.

Поэтому польза (или даже *спасение* наше) – не в *смешении* с народом и не в *практическом* каком-нибудь с ним *соглашении*, а в *сходстве с ним*, в некотором, так сказать, *подражании ему*. Вот чего не различают и что в высшей степени важно. Славянофилы как будто понимали это, но в их учении есть одна чрезвычайно слабая сторона – это *эгалитарный либерализм*. Ни один из них не обратил внимания на то, что при том *слиянии* или *смешении с народом*, которое они так всегда хвалили, не народ *слиняет*, так сказать, на нас *своими яркими национальными цветами*,

*а мы заразим его нашими европейскими миазмами, потому что мы все-таки сильнее его ежедневным нашим влиянием... Юридическое сословное разделение было полезно для сохранения национального типа. Объясняюсь проще и нагляднее. Между прежним привилегированным и «передовым» все-таки для своего времени дворянством и крепостными крестьянами, даже между тем же «онемеченным и офранцузенным» дворянством и благо-творно отставшим купечеством стояла каменная стена юридических прав и привилегий. Пороки крестьянства и старого купечества были пороками личными; национально, в смысле общего типа, оба эти сословия были почти всегда безукоризненны; дворянство же, во многих случаях лично почтенное и государственно всегда чрезвычайно доблестное, с точки зрения национально-культурного типа было ниже и хуже не только китайских мандаринов, но даже и турецких пашей и беев, которых, по крайней мере, резкие особенности их религии принуждают не все свое уступать европеизму, не все обычаи, не все поверия, не все юридические понятия и т. д.*

Пока наше, частью вполне, частью полувосточное дворянство было отделено от низших классов той стеною привилегий, о которых я говорил выше, оно могло вредить народу только вещественно, стеснять его волю, наносить безнаказанно ему личные оскорбления, пользоваться иногда неразумно и жестоко даровым трудом мужика, брать с купца взятки без всякого зазрения совести. Все это так; но оно не могло тогда вредить народу духовно, государственно, воспитательно, религиозно и культурно, стирая своим примером и влиянием драгоценные черты его национального характера. Нанесению этого рода вреда (несравненно более существенного, чем вред материальный и личный в глазах того, кто понимает, что значат слова: *государство, нация, культурный тип!*) – нанесению этого вреда препятствовали тогда глубокие предрассудки и закоренелые привычки обеих сторон. Эгоизм и открытое презрение высших привилегированных, с одной стороны, апатия и скрытое отвращение низших – с другой, спасали культурный стиль народа. Высшие не спешили учить и ласкать низших, привле-

кая их этой лаской постепенно к подражательности. Низшие со своей стороны смотрели на «господ» как на нечто чуждое, «немецкое» и даже весьма противное не потому именно, что «наказывает» и «заставляет на себя работать», а потому, что «в узком и коротком платье ходит, посты плохо соблюдает и т. д. ...». Купцы «московского типа» на дворян не работали, не зависели прямо от них и нередко в частных случаях преобладали над ними; но и они чувствовали этого рода культурное отвращение к европейскому стилю дворянства. Возьмем один пример. Я помню крепостное право; я вырос на нем; полжизни моей прошло при его условиях, и только во второй ее половине (30-ти лет) я увидел новые порядки. Я спрошу: когда слуги и простолюдины вообще строже содержали православные посты – тогда или теперь? И тогда многие «господа» ели и в Страстную пятницу мясо; и тогда были здоровенные молодые люди, до того изломанные нравственно, что уверяли, будто одна неделя поста расстраиивает их железное здоровье. Но в то время не только мужик, который из своего маленького ок-

на издали и невнимательно смотрел на барские хоромы, плохо даже и понимая, что там происходит, но и *слуги* в доме как-то не заражались нашим примером. Я помню слово одного 20-летнего дворового нашего. Я был тогда *студентом* и спросил его:

– Мне вот ничего, что я ем скоромное; а ты не хочешь ни за что. Отчего это?

Он же отвечал мне с улыбкой:

– Мы понимаем это так, что *господа от счастья забылись... Вот и все!..*

Чем больше равенства, больше общения, больше даже откровенных бесед, больше взаимного понимания, чем больше нравственного влияния сверху вниз, со стороны более сведущей, но культурно более испорченной (ибо культура не в массе знаний, а в живом своеобразном освещении этого умственного хаоса), чем меньше сословного отчуждения, тем легче общелиберальная зараза. Поэтому говорю: тот, кто понимает, до чего дорог культурный, национальный стиль для нашего государства, до чего спасительно может быть теперь для славянства постепенное свержение умственного ига Европы, тот должен желать

не дальнейшего влияния «интеллигенции» нашей на простолюдина русского, а, наоборот, он должен искать наилучших способов и наилегчайших *путей подражания мужику*.

Дело теперь не в дальнейшем уравнении *прав* (главным и последним уравнением было бы столь убийственное для порядка разрешение крестьянам продавать личные земельные участки); спасение не в каких-нибудь деловых юридических земских и т. п. соглашениях или сближениях с народом, а в *развитом восстановлении его идеалов, верных и самобытных, но загрубелых* в его бедных руках, и потому и нам не всегда достаточно ясных, и даже в самом простолюдине несколько менее утвержденных, чем могли бы быть утверждены в нем эти самые идеалы, если бы *сближенная* уже с ним теперь реформами интеллигенция подавала ему сама поразительный пример развитого, самосознательного, я готов даже сказать, *надменного в независимости своей культурного руссизма!* Я попытаюсь доказать (как умею), что достичь этого возможно (и даже легко) на нескольких, быть может, даже и на всех поприщах обществен-

ной жизни. И прежде всего на поприще научно-философской мысли.

Я сказал, что нам *нужно* вовсе *не смешение с народом, а сходство с ним*. Я говорил, что польза не в юридическом слиянии всех со всеми и спасение не в земском каком-нибудь или вообще деловом сближении высших слов общества с низшими; не в воспитательном, наконец, воздействии *русских европейцев* на их *еще не испорченных культурно* «меньших братьев»; спасение наше *не в практическом, а в идеальном сближении с простолюдином нашим*; то есть, говоря яснее и проще, в *подражании мужику, в развитом восстановлении его идеалов, верных и самобытных, но загрубелых и потому не всегда ясных даже и ему самому*. Вовсе не надо быть непременно *равным* во всем мужику, нет даже вовсе особенной нужды *быть всегда любимым им и силиться всегда самому любить его дружественно*: надо любить его *национально, эстетически*, надо любить его *стиль*. *Нужно быть с ним схожим в основах*.

Например, простолюдин любит Царя не за то только, что Он *сделал* для него вот *то-то* и

*то-то, а за то именно, что Он – Царь! И мы должны понять, что слишком далеко простертые идеи демократического индивидуализма и т. п. с серьезным взглядом на самодержавие решительно не совместимы. Мы должны рассуждать так: «Русский Царь по существенному атрибуту Его власти, по основным законам государства имеет право на всякое действие, кроме одного – кроме действия самоограничения». «Самодержец не может перестать быть самодержцем». Ибо пословица русская говорит: «Ум хорошо, а два лучше того»... Ум – т. е. рассуждение, совет... Она не говорит, что две воли или двести волей лучше одной. Это большая разница – ум и воля! К тому же во всех палатах или национальных собраниях, конечно, не ум же кладет шары, утверждает законы и свергает министров, а воля, то есть легально организованная игра интересов и страстей. Ум в делах конституционных собраний играет весьма второстепенную роль, как и всякий ум, везде, когда приходит минута практического действия; его в последнюю минуту выбора обыкновенно заменяет нечто другое, какая-то совокупность на-*

ших сил: нравственных, телесных и отчасти только умственных. И сверх того, разве в эти палаты и собрания выбираются всегда самые умные люди? Всякий знает, что нет. Пошлость и пустота конституционных собраний была прекрасно изображена недавно Daudet в его «Набобе»... Всякий читатель, не подкупленный желанием самому стать депутатом, чувствует, что Daudet прав и вовсе не клеветает. И еще гораздо прежде его Добролюбов очень удачно осмеивал западные «говорильни». В этом необходимо Добролюбову отдать справедливость.

Вот один очень простой пример тому, как мирозерцание простого человека может совпадать с убеждениями и *политическими вкусами*, так сказать, образованного русского. И можно даже сказать прямо, что те из нас, которых ум *дорос* до этих убеждений и *далеко перерос* понятия *современного* западно-мещанского права, обязаны, в большинстве случаев, *живому примеру* русского мужика. *Первоначальная*, либеральная испорченность нашего воспитания, встречаясь в жизни со стихийной мощью *мужицкого* мировоззрения,

заставляет нас краснеть за себя; презрение к *прогрессивной* Европе, которого не может не чувствовать в *наше время* русский человек, *добросовестный* мыслию, располагает нас искать иных путей, и эти пути – *тут, они так близко*, – они *за сохой*; они в сельской церкви; они под соломенной крышей, в дыму курной избы; они в этих – *полукрестьянских монастырях* наших.

«Русский» смысл – не в массе знаний, подавляющих только слабые умы большинства учащихся и учащих, а в *способе освещения этих знаний*, этой массы фактов в так называемом «выходе в жизнь».

Мужик, например, не только молясь в Церкви, но даже и сидя в кабаке, уже тем умен и хорош, что он в *прогресс* не верит (т. е. в *прогресс благоденственный и вечный*). Он, когда ему случается подумать о чем-нибудь другом, кроме хозяйства, податей и водки, думает, что «все мы под Богом» и «все от Бога!»

Поэтому ему сразу (пока наше влияние его еще не исказило) покажется даже смешным, если он услышит, что какие-то французы и немцы надеются усилиями своего разума

устроить на земле если не рай, то что-то приблизительное. И для этого одни насилием, бунтами, кинжалами, динамитом, а другие – «машинами» и «постепенностью», «говорильнями» и т. д. хотят разрушить все то, что было создано мудростью веков. Простолюдин найдет эту затею глупою. Так мыслит мужик, когда он удосужится помыслить; так думает он полусознательно, не размышляя много и действуя сообразно с этой стихийной, темной думой своей, он *покоряется*, верит и крестится.

Разве такое мировоззрение есть непременно удел одной простоты и невежества? Ничуть!

Такое воззрение на неизбежность в жизни страданий, зла, обид, разочарований и даже ужасов, на *невозможность* устранить все это *разумом, наукой и гражданской правдой* и даже на *огромную, косвенную пользу* всех этих зол вовсе не принадлежит только *незнанию* или так называемой «наивности». Такое воззрение на жизнь имеет даже и в области философской мысли *особое название*; этот род мирозерцания зовется *пессимизмом* (pessimus по-латыни, как многим известно,

значит *наихудший*, *optimus* – *наилучший*, отсюда *оптимизм*, то есть учение о том, что все идет к *наилучшему*. Впрочем, эти термины, грамматически или филологически прямо противоположные, в философском смысле не всегда удачно противопоставляются друг другу. Если мы философскому и религиозному пессимизму (т. е. *зло должно быть и, кто знает, может быть, все на земле идет к худшему, например, к разрушению*) противопоставим такой сложный термин: *оптимизм прогрессивно-эвдемонический*, то есть *поступательно-благоденственный*, – то, мне кажется, что это будет точнее).

Я сказал, что не одним только простым или невежественным, как говорится, людям свойственно придерживаться пессимистического неверия в благоденственный прогресс.

Все положительные религии, создавшие своим влиянием, прямым и косвенным, главнейшие культуры земного шара, – были учениями *пессимизма, узаконявшими* страдания, обиды и неправды земной жизни. Даже «светлая», как говорят, религия греков и та учила, что «боги завидуют счастью людей и мучают

их». Вспомним только великие трагедии Софокла, где столько «органически сросшихся с жизнью» неправд и горестей терзают людей!

При всем этом сознании бедствий земной жизни греки никогда не надеялись на какой-то прогресс, долженствующий сделать человека счастливым. Замечательно, что все лучшие мыслители древности были более или менее консерваторами. Вся древняя греко-римская мысль была направлена или на сохранение государства, или же на личное эстетическое наслаждение, преходящее, и потому именно драгоценное. Идея прогресса (или улучшения жизни для всех) есть выдумка нашего времени; она есть не что иное, как ложный продукт демократического разрушения старых европейских обществ. Бессознательный обман, самообольщение, могучее орудие постепенного расстройтва в незримой руке исторического рока. Человечество всегда в чем-нибудь ошибалось. Оно ошиблось и теперь, воображая, что созидает нечто, уравнивая общество во имя прав и благоденствия. Оно этим приготовляет лишь размягченную почву для нового какого-то (юридиче-

ского даже) неравенства, для нового рода страданий, для нового рода организованной муки! Человечеству размышления мало; ему нужен опыт. И опыт будет! И мысль о прогрессе равномерного счастья будет снова отвергнута.

Возвращаюсь к пессимизму. Все христианские мыслители были тоже своего рода пессимистами. Они даже находили, что зло, обиды, горе в высшей степени нам *полезны* и даже необходимы; так что христианское мировоззрение с этой стороны можно назвать – *оптимистическим пессимизмом*. Приводить цитаты из христианских писателей ни древних, ни современных я не буду много. Пусть кто хочет заглянет сам. Я приведу только два примера: один древний, другой, так сказать, вчерашний. Древняя цитата моя будет точная, а новейшая, прошу простить мне, немного «по памяти».

Первый пример мой будет из книги Блаженного Августина «О граде Божиим» (De civitate Dei). Готфы взяли Рим, разграбили его и произвели в нем множество всякого рода злодейств и насилий. Блаженный Августин в

своей книге утешает пострадавших христиан и возражает по этому поводу язычникам (их было еще в его время много). Учитель Церкви находит, что все эти страдания и оскорбления были христианам нравственно *полезны*. В одном месте у него мы находим следующее:

«Но многие христиане, говорят они (т. е. язычники), были уведены в плен»... «Это действительно было бы величайшим несчастьем, *если бы они могли быть уведены в какое-нибудь такое место, где не нашли бы своего Бога*». И только. Сам по себе плен не есть еще самое великое несчастье.

И еще, убеждая не сокрушаться о том, что многие тела не были погребены после избиений, Бл. Августин говорит так:

«...И если отсутствие и таких необходимых для поддержания жизни людей живых вещей, какова пища и одежда, *хотя и причиняет страдание*, не уничтожает в добрых силы терпеть и переносить лишения и не вырывает из души благочестия, а, *напротив, делает его более плодовитым*: то не тем ли более...» и т. д. (следует о непогребенных телах и утешения родным и друзьям, которые при опусто-

шении города не могли этого сделать).

Далее:

– Много христиан было *убито*... И это не важно. Не важно, каким родом смерти умрет человек, а *куда он пойдет после смерти?* Хороша ли была его жизнь или худа?.. И т. д.

– Многие были ограблены? Потеряли богатства и т. д.?..

– Потеряли они веру? – спрашивает Бл. Августин. – Потеряли благочестие? Если они их не потеряли, то что значит потеря богатства?.. Тот, кто будучи богатым, не привязывался к нему, тот спокоен; а те, которые были послабее, которые, хотя и не предпочитали этих земных благ Христу, были, однако же, хотя с некоторою страстностью привязаны к ним, те, теряя их, *почувствовали, насколько, любя их, грешили. Вот главная польза* – сознание своей *греховности*... Остальное – не важно. Утешения в этом роде Бл. Августином предлагаются даже тем из молодых христианок, изнасилованных готфами, которые сокрушались об утрате девственности и чистоты. Оправдывая пострадавших тем, что *воля их в чужом грехе не участвовала*, он прибав-

ляет, что некоторым это насильственное осквернение тела было *полезно* для уничтожения той *нравственной гордости*, которая могла быть им свойственна прежде, при строгом соблюдении целомудрия.

Так как грабеж и опустошение Рима варварами причинили жителям почти *все главные роды человеческих страданий* и несчастий: насильственную, болезненную, преждевременную смерть, страх, мучения при виде страданий близких, удаление из отчизны в тяжкий плен и рабство, вероятно, множество физических страданий от ран, ушибов и т. п., потеря имущества и вообще обеднение, преследование и, наконец, гражданскую, конечно, скорбь о взятии великого города, которого никто так долго взять не мог, – то я и привел именно этот пример для доказательства, насколько христианству присущ тот *оптимистический пессимизм*, о котором я говорю и который во всяком страдании и зле видит прямую или косвенную пользу для человека, верующего во Христа.

Вот древний пример.

Что касается до нового примера, который я

решаюсь привести немного «наобум» (потому что, к сожалению, потерял номер той газеты, где я его очень недавно нашел), то это не что иное, как наставление одного из наших епископов приходскому духовенству – как обращаться с паствой. Там, между прочим, сказано нечто подобное:

– Надо помнить, что все люди восприимчивее ко влияниям духовным в случае поразивших *их несчастий*, в случае потери близких и любимых лиц, болезней, денежных потерь и т. п. ... *Надо пользоваться особенно этими случаями, чтобы делать им пользу (духовную)*...

Итак, с христианской точки зрения можно сказать, что *воцарение на земле постоянного мира, благоденствия, согласия, общей обеспеченности и т. д.*, то есть именно того, чем задался так неудачно демократический прогресс, было бы *величайшим бедствием в христианском смысле*... С христианством можно мирить философскую идею сложного *развития для неизвестных дальнейших целей* (может быть, и для всеобщего *разрушения*), но эвдемонический (благоденственный) прогресс,

ищущий счастья в равенстве и свободе, – совершенно непримирим с основной идеей христианства... *Этого рода прогресс и настоящее христианство могут только кое-как жить рядом, но слиться в принципах никогда не могут.*

Но оставим пессимизм христианский и вообще религиозный (мистический), на почве которого могут сходиться легко самый ученый муж и самая безграмотная баба; оставим христианство... Новейшая, *именно самая передовая* философия Запада проповедует этот самый *пессимизм*, это мужественное и честное неверие в благоденственную спасительность прогресса. Вот что говорит Гартман:

*«Пессимистическое понимание мироздания, род понимания, в котором религиозная потребность ежедневно восстанавливает свои силы, не может не расти и не крепнуть, ибо чем более человечество умножает средства для приятности своего существования, тем более убеждается оно в невозможности преодолеть мучение жизни и достичь не только до благоденствия, но и до некоторого довольствия. Восходящий (т. е. прогрессивный в*

обыкновенном понятии этого слова) период человеческих дел может придерживаться оптимизма (т. е. веры в постепенное улучшение жизни) до тех пор, пока человечество еще надеется найти счастье на конце пути и насладиться им, но только что та или другая цель достигнута, народ, стремившийся к ней, тотчас же начинает находить, что он не только не прогрессировал в довольстве, а, *напротив того*, лишь увеличил грызущие и терзающие его нужды».

«Поэтому оптимизм есть всегда лишь временное состояние наций, находящихся еще на полпути *мирских* стремлений; но *пессимизм* есть основное расположение самознательного человечества, и это настроение прорывается всегда с удвоенной энергией при конце порывистых эпох. Будем же, поэтому, ожидать, что потребность человечества возвыситься (хотя бы только в идее) над *тщетою этого света*, выразится все с большей силой при исходе именно тех периодов, в которых «мир» праздновал, так сказать, свои триумфы и в течение которых *земные интересы все поглощали!* Будем ожидать, что религиоз-

ный вопрос сделается самым жгучим именно тогда, когда человечество, достигнув самой высшей степени возможной на земле цивилизации, окинет жизнь широким и ясным взглядом и поймет при этом всю сокрушительную нищету своего состояния!» («La religion de l'avenir», par Edouard de Hartmann. 1876. С. 137–139[1].)

Я привожу с истинным восхищением эти прекрасные слова главы пессимистического учения, несмотря на то, что я ни в чем почти остальном не могу согласиться с ним. Ни с тем, например, что это неверие в будущее вообще должно быть сопряжено с простой моралью (т. е. независимой от «страха Божия» и вообще от какой-нибудь обрядно-мистической религии; такая сухая нынешняя мораль, сознаюсь, мне просто ненавистна по причинам, объяснения которых для людей простоватых должны быть очень пространными и потому здесь неуместны, а умные и так согласятся со мной). Я, конечно, не могу сочувствовать Эд. Гартману еще и в непочтительных отзывах его о христианстве. Он находит хорошим в нем только мужественное

примирение с горестями и ужасами жизни (т. е. только тот самый *пессимизм*, о котором идет здесь речь). Не могу довольствоваться и тем *слепым*, *безучастным*, *неумолимым Имманентным* Богом, которого он предлагает людям взамен *нашего* Бога, Бога личного, «живого». *Имманентный* Бог Гартмана – это тот «ненужный» Бог, про которого еще Альфред де Мюссе сказал: «Un Dieu inutile, qui ne veut pas d'autels...»[2]

«Этот не „живой“ и *не-сознательный* Бог был бы *ниже* своего *сознательного* творения – *человека!*»

Гартман не верит и в *бессмертие души*, так что *его религия будущего* очень странна, убийственно скучна и потому невозможна. Без веры в награду, без страха наказания, без поэзии, даже без молитв и без «алтарей»!..

Конечно, по отношению к земной жизни или к «научной истине», так сказать, и такая мрачная решимость – *ничего лучшего в смысле приятности не ожидать от человечества* на земле – гораздо уважительнее и правильнее и прудоновской веры в какое-то гадкое однообразие и математическое равенство ка-

ких-то, все более и более мелких (*от популяризации науки и средней обеспеченности*) людишек будущего, и боклевской наивности, почему-то вообразившей, что дальнейшие успехи разума непременно будут усиливать личную свободу, и всех других эвдемонических (благоденственных) верований, столь распространенных в наше время и даже господствующих до сих пор по умственной косности прогрессистов, которые, вопреки очевидности, перебиваются двумя-тремя уже стареющими идеями...

Конечно, «пессимизм» Гартмана вернее, умнее, мужественнее, в научном смысле честнее и реальнее веры в прелести индустриально-бюргерского благодушия и в *неприкосновенность* всякой, самой гнусной европейской «личности», все ниже и ниже спускающейся в эстетическом и нравственном отношениях...

Разумеется, мировоззрение «пессимистическое» лучше *обыкновенного* прогрессивно-го, и наш Тютчев был не прав, «пугаясь» уж слишком его успехов в Германии. Тютчев, утратив веру в Запад, стал верить в оригинальное, сильное и новое славянство, в «еди-

нение славянской любви». Но этот розовый славизм, сколько бы в нем ни было искренности, «органических» бедствий и присущих жизни разочарований изменить не может, и потому какие бы мы союзы «любви» этой не составляли с южными и даже западными славянами, точно так же будут войны, междоусобия, дифтерит, холера вернется, будет трус и глад, будет скука и ревность, и лукавство, и жадность, и несправедливость; мосты на железных путях будут проваливаться, от свечек Яблочкова будут болеть глаза, электрическое освещение *ваших* внутренностей все-таки долговечности *вашей* не устроит. Ведь с точки зрения *благоденствия*, какое кому дело до того, что *всему человечеству* прибавится каких-нибудь *отвлеченных* пять-шесть лет *средней* продолжительности жизни? Людям нужны не эти *отвлеченные* и *никому собственно не принадлежащие* пять лет; людям нужны *индивидуальных лет 50 лишних и здоровых!* Так, чтобы им жизнь сама уже наскучила бы!

Этого и самый «любовный» союз панславизма, вероятно, не даст и ни от чего существенно-бедственного нас не избавит... И Тют-

чев был решительно не прав, называя учение Шопенгауэра и Гартмана – *une doctrine décevante!*[3] (кажется, он так выражался?)

Напротив того, *отрицательная* сторона этого учения вовсе не разрушительна и не вредна.

Отвергая прямо *всеспасительность эвдемонического* прогресса, признавая зло и страдания неотразимой принадлежностью жизни, это учение должно вести и в области общих идей, и на практике к примирению *со всеми теми неудобствами государственной и общественной жизни*, против которых так упорно борются либеральные прогрессисты; оно, это учение, своими отрицательными сторонами мирит *ум наш* и с *неравенством* (хотя бы и *словным*), и с *войнами*, и с *недугами*, и с *семейным деспотизмом*, и с *личными распрями*, и с *тяглом наших государственных обязанностей...*

На почве, *глубоко расчищенной* учением *пессимизма*, могла бы свободно произрастать и приносить свои прекрасные плоды *какая угодно положительная религия*; ибо на одном печальном *отрицании* всех благ – и *земных*, и

*загробных* (как предлагает Гартман) – кто же станет долго жить?

Гартман прав, ожидая, что совершенное разочарование в приятных плодах *земного прогресса* вскоре доведет людей сызнова до полнейшего поворота к религиозному, мистическому одушевлению; но пойдут люди молиться, конечно, не к тому мертвому, слепому и безличному Богу, которого он предлагает нам...

Его учение дорого только как *приготовительное средство* для тех несчастных людей, которые *прямо истин веры принять не в силах!*.. За пессимизмом в науке, в педагогии, в литературе последует вера; за верой – *послушание и дисциплина; за верой и послушанием Церкви и властям – независимость национального духа!*..

## Примечание 1885 года

**П**о поводу воззрений Эд. ф. Гартмана на прогресс, люди, весьма хорошо знакомые с его философией, замечали мне еще прежде, когда эта статья моя была издана в виде отдельной брошюры, что Гартман все-таки известным образом верит в *прогресс*. Да, в *прогресс*, как в эволюционное движение от бессознательного к сознательному, он верит, это правда. Но он не допускает той мысли, чтобы люди стали *когда-либо счастливее внутренно* от этого, даже неизбежного, по его мнению, поступательного движения.

Вот, например, что он говорит в конце своей книги: «История и основания пессимизма» (1880 г.): «Верно – то, что без перевеса страданий над наслаждением род человеческий не мог бы достигнуть своего нравственного назначения, – при этом же условии он может и должен достичь его, несмотря на переходящую часто дальше нужной цели меру страданий, несмотря на неправильное распределение их и на вредные побочные действия, обуславливаемые этими страданиями. Уже из од-

ного того, что страдание есть средство, исполняющее свое назначение в общем ходе жизни, хотя в частностях оно иногда и не достигает своей нравственной цели, – явствует, что оно может иметь объективное *телеологическое* значение. Эта вероятность становится еще значительнее, когда мы убеждаемся, что страдание, по мере развития рода человеческого, все лучше и лучше выполняет свое назначение, а именно по двум причинам, действующим совокупно: во-первых, потому, что *субъективных данных* для извлечения нравственной пользы из страданий *существовало при начале истории гораздо меньше* и они (эти субъективные данные) только с течением времени развивались в восходящей степени; а во-вторых, потому, что тот *объективный образ*, в котором страдание преследует человека, *постоянно превращается* и становится все более и более пригодным для извлечения из него нравственной пользы» (С. 132–140; «Zur Geschichte und Begründung des Pessimismus»).

И дальше Эд. ф. Гартман надеется, что рано или поздно мы все «поймем, что наша борьба

со страданием имеет значение не только в субъективном, но и в объективном отношении, так как от этой борьбы хотя и не уменьшается общая сила страдания, но все-таки преобразовывается его вид и из менее ценного нравственно становится более ценным. Сущность культурного процесса состоит в постоянно увеличивающемся уничтожении объективных источников страдания и в устранении той иллюзии, будто бы страдание приходит главным образом извне; идеальным же концом культурного процесса должно быть такое состояние, в котором с уничтожением всех возможных объективных источников страданий и при постоянно продолжающемся страдании субъективном стало бы всем ясно, что преобладание страдания есть ничем не устранимое следствие главных факторов самой *психической* нашей жизни. Подобное абсолютное сведение к *собственной внутренней* деятельности нашей души как к истинному и неиссякаемому источнику страданий, довело бы извлечение нравственной пользы из них до высшего максимума и каждое частное из прежних (т. е. подверженных

устранению) страданий оказалось бы тогда лишь пропедевтической ступенью для этой высшей и *последней цели*».

Прежде же достижения *этой последней цели* культурная борьба, стремящаяся (по мнению Гартмана) *видоизменить* страдания наши, прекратиться не должна и не может!

Теперь естественный вопрос: «А *дальше* что же?»

Достигнута, наконец, та высшая степень всеобщей цивилизации, при которой «человек наименее будет зависеть от природы и наиболее – от общества». *Боль и страдания духа не уменьшились от этого; они усилились.* Что же тогда?

– *Погибнуть!* – говорит Гартман. – Перейти в *Ничто*, в «нирвану»! Человечество, развивши в себе самосознание до последней и высшей степени, найдет, что существовать не стоит и одним актом коллективной воли уничтожит и себя, и все мироздание! Все обратит в *ничто, в небытие.*

Не правда ли, ужасная картина! Это не то, что христианское «преставление света», после которого настанет *вечная, новая жизнь.*

Но, как она ни ужасна, все же она, эта картина, несколько ближе к делу и правдоподобнее, чем воображение, что *европейская демократия, возобладав везде, обратит на веки вечные* весь мир в свободно-равноценное общежитие каких-то «средних» и благоразумных людей, которые будут совершенно счастливы одним мирным и справедливым разделением труда. Ведь эта благоденственная надежда уж до того нелепа и мелка, до того противоречит всем человеческим понятиям, что надо только дивиться, как могла подобная эвдемоническая мечта почти целый век править столь многими высокими умами Запада и даже до сих пор иметь своих (хотя и значительно разочарованных) приверженцев... Эта надежда противоречит всему: она противна нашим эстетическим идеалам (требующим разнообразия положений и характеров, подвигов, восторгов, горя и борьбы); она противоречит нашим религиозным верованиям (предрекающим *конец* земного мира после ужасов последнего расстройств); противоречит нравственным понятиям (ибо высшая степень нравственных сил обнаруживается

не при организованном покое, а при свободном выборе добра или зла и особенно тогда, когда это очень трудно и опасно). Надежда эта противоречит даже здравому рационализму и науке, и вот по какой простой причине: всякий организм *умирает*; всякий органический процесс *кончается*; всякий эволюционный процесс (процесс развития) достигает сперва своей высшей точки, потом спускается ниже и ниже, идет к своему *разрешению*.

Если человечество есть явление живое, органическое, развивающееся, то оно должно же когда-нибудь *погибнуть* и окончить свое земное существование!

Если бы одна эта мысль о необходимом, о неизбежном конце так же часто мелькала в умах наших, как мелькает до сих пор еще в умах скудная мысль о «всеобщем мире», о всеблагих плодах физико-химических открытий и эгалитарной свободы, то результат от подобного, даже и полусмутного представления конца, был бы великий! Перестали бы любить образ «среднего европейского человека», безбожного и прозаического, но дельного и честного, безбожно и плоско, хотя весьма честно

и дельно восседающего всегда и всюду на каких-то всеполезных и всемирных конференциях, заседаниях, съездах и митингах. Перестали бы верить, что вся предыдущая история была лишь педагогическим и страдальческим подготовлением к умеренному и аккуратному благоденствию миллионов и миллионов безличных людей, и перестали бы во имя этого идеала разрушать все преграды, которые кладут еще до сих пор, слава Богу, этому разлитию убийственного бездушия, с одной стороны, государственность и войны, с другой – требования положительных религий, поэзия жизни и даже (увы, что делать!) во многих случаях самые порочные страсти и дурные наклонности человеческого рода.

Положим, что, раз указавши на Гартмана и становясь хоть в чем-нибудь и хотя бы только на время на его точку зрения, необходимо упомянуть и о том, что и он верит во что-то подобное социально-эгалитарной вере в «среднего человека». И он верит в нечто подобное той «атрофии страстей», о которой еще в XVIII веке заботился Мабли, а позднее Прудон и столькие другие люди 30-х и 40-х го-

дов. Но между Прудоном и им подобными людьми, с одной стороны, и Эд. ф. Гартманом – с другой, разница та, что эгалитарные прогрессисты *желали* этой атрофии *во имя* земного счастья человечества, а Гартман только *предвидит* подобную атрофию, пророчит подобное ограничение *каждого* *всеми* *под конец* жизни человечества на земле[4]; он считает подобный результат *фатальным*, неизбежным исходом истории и не только ничего приятного от подобного состояния людей не ждет, но, напротив того, утверждает, что тогда-то только вполне ясно и поймут, *до чего* страдание есть неустранимое и основное свойство нашей души, *до чего* оно *субъективное*, не зависящее от внешних обстоятельств свойство наше! Тогда-то и поймут, что лучший выбор – это выбор всеобщего самоуничтожения, выбор абсолютного *небытия!*

Конечно, так, – и я скажу: *да, если все пойдет по этому пути.*

Но вот еще вопрос: по этому ли прогрессивно-благоденственному пути *все прямо и прямо* пойдет человечество в последующих *за этим XIX* веком веках?

Не захотят ли, например, славяне и другие народы Востока, объединенные в небывалых еще политических сочетаниях, выйти на совершенно *новые пути* мысли и жизни? И если славяне настолько уже проникнуты европеизмом, что они не в состоянии будут водрузить на развалинах опошленной романо-германской цивилизации знамя оригинальной культуры, то не пожелают ли этого миллионы и миллионы *других азиатцев*, которых современный европеизм, быть может, только пробуждает от векового культурного отдыха?

Не вернее ли ждать для износившегося Запада последних разрушительных судорог или медленной агонии?

Гартман, может быть, и прав в том, что когда-нибудь все-таки все человечество придет к этому общему типу скучного и скучающего «среднего человека» и *тогда погибнет!* Весьма вероятно, по крайней мере, что оно будет фатально и не раз еще возвращаться к этой убийственной попытке; но теперь – вскоре, в *XX веке*, – того ли ожидать? Конечно нет!

И есть слишком много признаков тому, что мы, русские, хотя сколько-нибудь да из-

меним на время русло всемирной истории...  
хоть *на короткое* время – да!

Не правдоподобнее ли, что человеческая история должна идти по образцу следующего волнообразного схематического чертежа:



Точка *a*, например, означала бы высшую степень земного развития; *b* – пониже – последний слабый отпор торжеству «среднего человека» (уже в то будущее время *давно не-европейского типа*, конечно); точка *c* – волна еще ниже – *кратковременное благодущное процветание этих последних средних людей*; точка *d* – *конец* человечеству.

«Ибо когда будут говорить: мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба... и не избегнут!» (Ап. Павла к Солунянам I, гл. 5, 3).

А пока мы, русские ближайшего будущего, можем извлечь из этой мрачной новой германской философии все то, что в ней есть хо-

рошего, именно – неверие в земное эгалитарное благоденствие; мы можем извлечь из нее то, *что нам нужно*, подобно тому, как Отцы Церкви извлекали из древнегреческой философии в свое время то, *что им было нужно*.

Не раз и давно уже было говорено и доказано, что отвлеченная философия без догматического императива и без мистической пластики обрядов (этот догмат изображающих) никогда не могла создать ни государственности, ни новой культуры.

*Хорошая*, наилучшая, высшая философия всегда является лишь перед концом культурно-государственных периодов, и некоторыми из начал этой предсмертной философии питаются корни грядущих и осуществимых религиозно-политических произрастаний.

Если все человечество (а не одна Европа) уже близится к концу своему, то, конечно, уже не будет ни временного и могучего возрождения христианской мистики, ни нарождения какой бы то ни было вовсе новой (хотя бы и ложной) религии, и мы все волей-неволей пойдем неуклонно по пути всепретворения в того ужасного всечеловека, о котором я

твердил не раз выше; если же человечеству суждено просуществовать 2 или 3 тысячи лет (я не говорю уже более), то вся германская философия от Лейбница и Канта до Шопенгауэра и Гартмана послужит лишь для большей глубины и пронизающей остроты мистико-религиозных выводов, как уже и случилось прежде с философией греческой.

# Примечания

Эдуард фон Гартман. Религия будущего. 1876.  
С. 137–139.

[^^^]

## 2

Беспользньй Бог, который не требует алтарей  
(фр.).

[^^^]

См. Философия бессознательного. Ч. 2, гл. XIII  
и XIV.

[^^^]